

ДЕКРЕТ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
Об учреждении Государственного хранилища
ценностей республики

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
постановил:

Для концентрации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей, состоящих из золота, платины, серебра в слитках и изделий из них, бриллиантов, цветных драгоценных камней и жемчуга, при центральном бюджетно-расчетном управлении учреждается в Москве Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран)...

Председатель
Совета Народных Комиссаров
В. И. Ленин

Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров
В. Д. Бонч-Бруевич

Секретарь
С. Бричкина

1. МОСКВА, АПРЕЛЬ 21-ГО

— А кто там, в углу? — спросил француз.

Миша Ерошин, проводивший с журналистом из Парижа Бленером все дни, ответил, поморщившись:

— Художник... Я забыл его фамилию. Он продался большевикам.

— Талантлив?

— Бездарь.

— А рядом с ним кто?

— Тоже художник. Работает на Луначарского, лижет сапоги комиссарам.

— Здесь собираются только живописцы?

— Почему? Вон Клюев. Рядом — Мариенгоф. Тоже сволочи. Трусливо молчат, а комиссары их подкармливают.

Француз чуть улыбнулся:

— У меня создается впечатление, что ругать друг друга — типично московская манера. Это было всегда или началось после переворота?

Миша не успел ответить: к их столику подошел театральный критик Старицкий.

— У вас свободно? — спросил он.

— Пожалуйста, — ответил Бленер, — мы никого не ждем.

Здесь, в маленьком полуподвале на Кропоткинской, недавно открылась столовая, где давали чай и кофе — по пропускам, выданным ЦЕКУБУ, — ученым и творческой интеллигенции столицы. Поэтому

толпились здесь люди, знавшие друг друга — если даже и не лично, то уж понаслышке во всяком случае.

— Кто это? — бесцеремонно спросил Старицкий, разглядывая в упор француза. — Кого ты притащил, Миша?

Ерошин, испытывавший традиционную почтительность к иностранцам, заерзал на стуле, но француз добро улыбнулся и протянул Старицкому свою визитную карточку.

Критик сунул карточку в карман и спросил:

— Коминтерновец?

— Скорее антантовец.

— Тогда бойтесь Мишу — он тайный агент ВЧК.

— Какая ты скотина, — попробовал улыбнуться

Миша, — вечно несешь вздор...

— Какой же это вздор? Я от каждого буржуа шархаюсь — даже своего, доморощенного, а уж к чужому подойти — спаси господь, сохрани и помилуй! Ничего, ничего, когда вся галиматья кончится, мы тебя, Миша, казним. Из соображений санитарии и гигиены.

— Вы думаете, что «галиматья» все же кончится? — спросил Бленер.

— Мир живет по законам логики и долго терпеть безумие не сможет. И дело тут не в личностях, а в некой надмирной системе, управляющей нами по своим, непознанным законам.

— Всякие изменения в этом мире определяются личностями, — заметил француз. — Упования на заданную надмирную схему — своего рода гражданское дезертирство.

— А что ж, мне наган в руки брать прикажете?

— Отнюдь нет... Просто я стараюсь вывести для себя ясную картину происходящего...

— В России ясной картины не было и не будет: у нас — каждый сам по себе Клемансо. И потом —

ясную картину только лазутчики хотят получить. Вы лазутчик?

— Всякий журналист — в определенной мере лазутчик.

— Значит, интересуется ясность... — вздохнул Старицкий и продекларировал: — «Нет смерти почетнее, как смерть на благо родины, и она не может испугать честного и истинного гражданина». Александр Ульянов. Брат Ленина. Вот это и придет вскорости в несчастную и замученную Россию, которая поднялась — брат против брата.

— Вы предпочитаете цитировать Ульянова... Жертвенность смертников не очень вам симпатична — в личном плане?

— А по какому праву вы так со мной говорите?

— Как? — не понял француз. — Я спрашиваю. Я не понимаю, как может быть обиден вопрос, если у вас есть возможность ответить.

Бленера стали раздражать собеседники. Они строили фантастические планы, таинственно на что-то намекали и сулили скорые перемены; при этом никто из них не говорил доброго слова ни о ком из тех, с кем минуту назад дружески здоровался, а порой и целовался. Поначалу Бленер был потрясен этими беседами и уже выстроил ясную концепцию своих будущих статей: «Россия на грани взрыва». Но, встретившись с Литвиновым, который, оставаясь послом в Эстонии, был одновременно утвержден заместителем наркома по иностранным делам, француз вынужден был эту свою концепцию развалить.

— Вы спрашиваете о так называемой творческой оппозиции? — спросил Литвинов. — Есть оппозиция, смешно ей не быть. Чехов утверждал: «Кто больше говорит, чем пишет, тот исписывается, не написав ничего толком». С нами Горький, Блок, Серафимович, Брюсов, великолепная молодая поросль: Маяков-

ский, Пастернак, Асеев, за нас Тимирязев, Шокальский, Обручев, Графтио, Губкин; с нами Коненков, Кончаловский, Петров-Водкин, Нестеров, Кандинский, Кустодиев... Им приходится порой трудно — как и всюду, у нас есть свои идиоты и завистливые ничтожества в учреждениях, занимающихся культпросветом. Но ни в одной другой стране искусство не получает той громадной, заинтересованной аудитории, которая появилась в России после революции...

Литвинов порылся у себя в столе, бросил французскую газету:

— Это ваша. Поль Надо — быть может, вы его знаете? Он из Парижа, тоже, — Литвинов снова усмехнулся, — журналист. Вот почитайте, что он пишет о нашей оппозиции, причем не болтающей за чаем, но серьезной — об эсерах и кадетях. Он с ними в Бутырской тюрьме посидел.

Бленер взял газету и сразу же увидел отчеркнутые абзацы: «Вся камера с великой торжественностью обсуждала проблемы внутреннего порядка, как, например, назначение дневальных. Детская мания парламентаризма, обрушившаяся на всю Россию, проявлялась в бесконечных пустых речах в нашей камере. Под руководством председателя поправки сменялись контрпоправками, те в свою очередь — предложениями, а их уж сменяли контрпредложения. Участники этого жуткого тюремного турнира применяли методы, которые были бы не лишними в Вестминстерском дворце. Арестанты терпеливо слушали эти ораторские словопрения, которые так ничем и не кончились... Через три дня в камеру с воли доставили для членов партии социалистов-революционеров корзины с продуктами. Те без стеснения стали уплетать за обе щеки. Остальные арестанты молча отворачивались, чтобы не очень страдать. Но староста не вы-

держал, поднялся и сказал: „Я предлагаю обсудить в заседании вопрос о социализации всех съестных припасов“. Наступило молчание. Слышалось лишь хрустение челюстей товарищей с.-р., которые принялись жевать быстрее. Наконец один из них сладким голосом произнес: „Конечно, коллеги, эта идея нам симпатична, так как прямо вытекает из наших партийных принципов. Но рассудим! Намерены ли мы посягать на свободу совести? Здесь многие не разделяют наших идей, — добавил оратор, указав на старого голодного полковника, на помещика с пустым желудком и знаменитого московского адвоката, доведенного голодом до бешенства. — Заставим ли мы этих господ стать социалистами помимо их воли? Нет, товарищи! Я утверждаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса должно быть отложено“. И оратор поспешил энергично наверстать потерянное время усиленным уничтожением пищи».

— Каково? — спросил Литвинов. — Если бы написал большевик, а то ведь — ваш брат, буржуй... Нас терпеть не может, но и он сказал — после освобождения: «Лучше уж с вами, вы хоть конкретны, а те — как медузы перед штормом, неохватны и зыбки».

...И теперь, встречаясь с русскими в этом маленьком полуподвале, Бленер не мог заставить себя разговаривать с ними непредвзято: перед глазами стояла статья Надо. Он знал его — это был серьезный человек, которого легче было убить, чем заставить говорить неправду.

Когда Старицкий отошел от них, Бленер спросил:

— Он издал что-либо?

— Он не способен написать и двух строк! Болтун. А уж если кто и есть агент ЧК — так это он, уверяю вас.

Писатель Никандров — высокий, жилистый, заметный — вошел в полуподвальчик, когда стемнело.

— Кто это? — сразу же спросил француз.
— Леонид Никандров, литератор.
— Тоже бездарь?
— Как вам сказать... Эссе, повести из древней истории, исследования о Петре Великом... Не борец, совсем не борец.

Француз представился Никандрову сам, попросив дать короткое интервью.

— Садитесь, — хмуро согласился Никандров, — только пусть спутник ваш обождет за другим столом.

— Он знает город, лишь поэтому я пользуюсь его услугами, — ответил Бленер и, чуть обернувшись, громко сказал: — Миша, спасибо, я вас на сегодня не задерживаю.

Миша угодливо раскланялся с французом и подсел за другой столик: там громко шумели поэты.

— У меня к вам несколько вопросов, гражданин Никандров. Мне хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, сейчас наиболее талантлив в России — в литературе, живописи, в театре?

— В литературе — я, — улыбнулся Никандров. Улыбка сделала его жилистое, напряженное лицо совершенно иным — каким-то неуклюже-добродушным, открытым. — Это если по правде. В принципе я должен ответить: Бунин, Горький, Блок.

— Бунин в Париже, а меня интересует Россия.

— Бунин может быть хоть в Америке — он принадлежит только России.

— Думаете, Бунин хочет принадлежать этой России?

— А вы убеждены, что *эта* Россия навсегда останется *этой*?

— Я не готов к ответу, хотя бы потому, что сочинений Бунина не читал и знаю о нем лишь понаслышке.

— Значит, вы интересуетесь российскими литераторами лишь как фигурами в политической структуре? Тогда у нас разговора не получится.

— Я бы солгал вам, сказав, что меня не интересует политическая структура. Но я живо интересуюсь и беллетристикой.

— А я беллетристикой не интересуюсь. Я принадлежу литературе.

— Где я могу купить ваши книги?

— Меня не очень-то издают здесь...

— Я готов помочь вам с изданием в Париже.

Никандров внимательно посмотрел на француза и ответил:

— За это спасибо, коли серьезно говорите.

— Я говорю серьезно... Прежде чем мы обратимся к вашему творчеству, хотелось бы спросить о том, кого вы здесь цените из живописцев?

— Талантов у нас — много. Лентулов, Сарьян, Кончаловский, Малявин... Да не перечтешь всех... А Коровин, Нестеров?!

— Я благодарю Бога, — широко улыбнулся француз, — вы первый русский, который сказал, что в Москве есть таланты.

— С кем же вы тут встречались? С этой мелюзгой, — Никандров кивнул головой на посетителей столовой, — смысла нет говорить. Сущие скорпионы. Хуже комиссаров — те хоть знают свое дело, а эти только повизгивают из подворотни. Цыкни на них — хвосты подожмут и в кусты. Но говорят — «талантов здесь нет»...

— Талантам трудно здесь?

— А где таланту легко? Конечно, таланту сложно, ибо он хочет искать свою правду, а она — всегда в нем, в его мировидении.

— Вы не согласны с Марксом — «человек не свободен от общества»?

— Не согласен. Человек рожден свободным: никто ведь не отнимал у него права распоряжаться жизнью по собственному усмотрению.

— Определенные ограничения введены и на этот счет: несчастных самоубийц не хоронят на кладбищах, только за оградой.

— После меня хоть потоп.

— Мне казалось, что литератор прежде всего думает о согражданах.

— Пусть литератор думает о себе. Но до конца честно. Это будет хорошим назиданием для сограждан, право слово.

— Вам трудно жить здесь с такими настроениями?

— Мне трудно здесь жить. Но не от настроений.

— Собираетесь покинуть Россию?

— Да. Я хлопочу о паспорте.

— Если вы дадите мне свои рукописи, возможно, к вашему приезду будет готова книга.

Никандров поднялся:

— Пойдемте из этого борделя...

На улице дул студеный ветер.

— Ни в одной столице мира нет такого уютного и красивого Лобного места, как в Москве. Знаете, что такое Лобное место? Здесь рубили головы. Заметьте: о жестокостях в истории Российского государства написаны тома, но за все время Иоанна Грозного и Петра Великого народу было казнено меньше, чем вы у себя в Париже перекокошили гугенотов в одну лишь ночь, — продолжал Никандров. — Мы жестокостями пугаем, а на самом деле добры. Вы, просвещенные европейцы, — о жестокостях помалкиваете, но ведь жестоки были — отсюда и пришли к демократии. Это ж только в России было возможно, чтобы Засулич стреляла в генерала полиции, а ее бы оправдывал государев суд... Мы — евразийцы! Сначала с нас татарва брала дань и насильничала наших ма-

терей — отсюда у нас столько татарских фамилий: Баскаковы, Ямщиковы, Ясаковы; отсюда и наш матерный перезвон, столь импонирующий Западу, который выше поминания задницы во гневе не поднимается. А потом этим великим народом, ходившим из варяг в греки, стали править немецкие царьки. Ни один народ в мире не был так незлобив и занятен в оценке своей истории, как мой: глядите, Бородин пишет оперу «Князь Игорь», где оккупант Кончак выведен человеком, полным благородства, доброты и силы. И это не умаляет духовной красоты Игоря, а наоборот! Или Пушкина возьмите... На государя эпиграммы писал, ходил под неусыпным контролем жандармов, с декабристами братался, а первым восславил подавление революционного восстания поляков... Отчего? Оттого что каждый у нас — сфинкс и предугадать, куда дело пойдет дальше, — совершенно невозможно и опасно.

— Почему опасно?

— Потому что каждое угадывание предполагает создание встречной концепции. А ну — не совпадет? А концепция уже выстроена? А Россия очередной финт выкинула? Тогда что? Тогда вы сразу хватаетесь за свои щепелины, «большие Берты» и газы, будьте вы трижды неладны...

— Я понимаю вашу ненависть к своему народу — это бывает, но при чем здесь мы? Отчего вы и нас проклинаете?

— Ну вот видите, как нам трудно говорить... Я свой народ люблю и за него готов жизнь отдать. А вас я не проклинаю: это идиом у нас такой — фразеологический, эмоциональный, какой хотите, — но лишь идиом. Русский интеллигент Париж ценит больше француза, да и Рабле с Бальзаком знает куда как лучше, чем ваш интеллигент, не в обиду будь сказано.

— Действительно, понять вас трудно. Но, с другой стороны, Достоевского мы понимали. Не сердитесь: может быть, уровень понимания литератора возрастает соответственно таланту?

— Тогда отчего же вы в Пушкине ни бельмеса? В Лермонтове? В Лескове? Мне кажется, Европа эгоистически выборочна в оценке российских талантов: то, что влазит в ваши привычные мерки, поражает вас: «Глядите, что могут эти русские!» Я временами боялся и думать: «А ну родись Гоголь не в России — его б мир и не узнал вовсе». А вот Пушкин в ваши мерки не влазит. Только его запихнешь в рамки революционера, он выступает царедворцем; только-только управишься с высокой его любовью к Натали — так нет же, нате вам, пожалуйста, — лезет ерническая строчка в дневнике о том, что угрожал Анну Керн...

— А не кажется ли вам, что большевики замахнулись не столько на социальный, сколько на национальный уклад?

— Это вы к тому, что среди комиссаров много жидовни?

— По-моему, комиссаров возглавляет русский Ленин...

— Пардон, вы сами-то...

— Француз, француз... Нос горбат не по причине вкрапления иудейской крови; просто я из Гаскони... Мы там все тяготеем к путешествиям и политике. Любим, конечно, и женщин, но политику больше.

— Если вы политик, то ответьте мне: когда ваши лидеры помогут России?

— Вы имеете в виду белых эмигрантов и внутреннюю оппозицию? Им помогать не станут — помогают только реальной силе.

— Значит, никаких надежд?

— Почему... Политике чужды категорические меры; это не любовь, где возможен полный разрыв.

— В таком случае политика представляется мне браком двух заклятых врагов.

— Вы близки к истине... И дело не в нашей капитуляции перед большевиками: просто-напросто мир мал, а Россия так велика, что без нее нормальная жизнедеятельность планеты невозможна.

— Вы сочувствуете большевизму?

— Большевики лишили мою семью средств к существованию, аннулировав долги царской администрации. Мой брат, отец троих детей, застрелился — он вложил все свои сбережения в русский заем... Но я ненавижу не большевиков; я ненавижу слепцов в политике.

— Погодите, милый француз, вернем мы вам долги. Народ прозреет, и все станет на свои места...

— А как быть с народом, который безмолвствует?..

— Народ безмолвствует до тех пор, пока он не выдвинул вождя, который имеет знамя.

— Под чье же знамя может стать народ? Под знамя того, который провозгласит: «Вернем французскому буржую его миллиарды»?

Никандров вдруг остановился и тихо проговорил:

— Пропади все пропадом, господи... Я всегда знал — чего не хочу, а чего — желаю. Скорей бы вырваться отсюда... К черту на кулички! Куда угодно! Только б поскорей... Ну вот мой подъезд. Пошли, я поставлю чаю и покажу вам рукописи...

Поднимаясь по лестнице, Бленер сказал:

— Вы первый абстрактный спорщик, которого я встретил в Москве. Все остальные лишь бранят друг друга. А вы не останавливаетесь на частностях...

— Так вы — иностранец. Вас частности более всего интересуют, общее — у вас свое... Буду я вам част-

ности открывать! Я мою землю, кто бы ею ни правил, люблю и грязное белье выворачивать вам на потребу не стану. Я есть я, интересую я вас — милости прошу, а нет — стукнемся задницами, и адье...

Чичерин зябко поежился и накинул на плечи короткую заячью безрукавку. Левый висок тянуло долгой, нудной болью: долго сидел над документами — дикпурьеры только что привезли последнюю почту из Берлина и Лондона.

Иоффе в своем подробном донесении из Берлина писал:

«Канцлер заявил мне, что он считает русско-германское сотрудничество барьером на пути политического экспансионизма Франции и экономического натиска Англии. Он считает, что главным препятствием в осуществлении плана экономического и культурного обмена будут не столько внешние силы, сколько внутренняя оппозиция со стороны мощного рурского капитала. Ратенау подчеркнул, что безответственная жестокость контрибуции, наложенной Версальским договором на Германию, позволяет сейчас изолировать крайний экстремизм германского капитала, ибо производители — рабочие и крестьяне, а также патриотически настроенная интеллигенция будут, безусловно, поддерживать кабинет в его попытках наладить равноправные отношения с великой державой — пусть даже этой державой окажется коммунистическая Россия...»

Красин сообщал из Лондона о том, как протекали его последние беседы с представителями трех ведущих сталелитейных фирм и с секретарем Ллойд Джорджа. Он писал:

«Англичане так уверены в своем могуществе, что не находят нужным скрывать узловые моменты, представляющие для нас стратегический интерес. Мистер Энрайт, в частности, прямо спросил меня: „В какой мере фран-

цузский капитал будет ограничен вами не только в России, но и в сопредельных странах и как вы думаете помогать британским предпринимателям в создании барьера против возможного возрождения германской промышленной мощи?» В отличие от прошлых бесед, заметна узкая конкретность в постановке вопросов, что свидетельствует о серьезных намерениях контрагента».

Чичерин отошел к кафельной печке, крепко прижался спиной, ощутил медленное тепло и закрыл глаза. Улыбнулся.

«Засуетились, — подумал он. — Поняли наконец, что правительство Ленина через три недели „не рухнет окончательно и навсегда“».

Чичерин вернулся к столу, поднял трубку телефона, вызвал Карахана.

— Как у нас дела с краткосрочными курсами французского и английского языка? — спросил он. — Пожалуйста, возьмите это дело под свой строжайший контроль. Нас всегда подводят досадные мелочи: признать — нас уже признают, а вот дипломатов, которые это наше признание смогут неуклонно обращать на пользу делу, — у нас, увы, раз-два и обчелся.

«765. 651. 216. 854. 922. 519... 648. 726. 569. 433... 113. 578. 723. 944... 137. 649. 523. 966. 483... 465. 282. 697. 193...¹ 66...²»

«Дорогой Огюст! Рад, что могу с помощью друзей переслать тебе весточку. Совсем ты забыл нас. Как тетя Роза? У вас, наверное, расцветает, а здесь совсем замерз-

¹ «Дзержинскому. Источники, близкие к министерству финансов, утверждают, что в России существует подпольная организация, занимающаяся хищением бриллиантов и золота. Ценности эти переправляются — или должны быть переправлены — в Ревель и Антверпен». (*Здесь и далее примеч. автора.*)

² 66 — кодовое обозначение Романа, советского резидента в Ревеле, — Шелехеса Федора Савельевича.

ла — наш климат не для нее. Игорек занимается с утра до ночи: в вуз поступить ему довольно трудно, поскольку нет необходимого сейчас в республике трудового стажа, однако мальчик он талантливый, и мы все надеемся, что он станет истинным инженером-путейцем. Его прежнее увлечение геологией проходит: никто, кроме дяди Ивана, не может консультировать его в полезных ископаемых Сибири, а дядя Иван так занят своими делами, что ему не хватает времени для нормального сна. У него к тому же скачет кровяное давление от 150 до 190. И здешние доктора с этим пока ничего не могут поделать, лечим его грибной диетой — говорят, это сейчас в новинку. Насушили за лето две связки по 50 и 300 штук. Хватит этого на всю зиму, но поможет ли это Ивану — боюсь и подумать. Если сможешь — вызови к себе в Париж Лелечку на два-три месяца. Паспорт ей дадут наверняка, если ты проявишь настойчивость и докажешь необходимость ее пребывания у тебя не только как родственницы, но как человека, в совершенстве знающего твою манеру писать сольфеджио на слух, без нот. Если сможешь — перешли мне с оказией несколько банок какао. Жду твоих писем¹.

Любящий тебя дядя»².

¹ «Директору фирмы Маршан, Париж. Цена, утвержденная Наркомфином на бриллианты в карат и полтора карата, — 1500 рублей. Жемчуга в нитках некруглые — от 50 до 300 рублей золотом. Жемчуга парные, круглые, а также в нитках — от 50 до 200 рублей карат. Платина оценивается по 80 рублей за золотник. Золото — по 32 рубля за золотник девяносто шестой пробы. Отказывайтесь покупать у большевиков драгоценности по их ценам; они ситуации в нашем деле не знают. Нас же здесь всего двое: Пожамчи и я. Срывайте их торговые операции: единственно это сможет вывести нас на прямые контакты с вами. В случае, если большевики, поняв невозможность реализации бриллиантов, выпустят нас в Ригу или Ревель, мы привезем с собой достаточное количество товара. Иного пути в наст. время не вижу».

² Любящий дядя — псевдоним главного оценщика бриллиантов Гохрана РСФСР Шелехеса Якова Савельевича.

«25. 67. 41. 5982. 6. 3519. 4. 69. 416. 5. 8893. 14. 9. 6421»¹.

«Я, агент УГРО Можайского уезда Московской губернии Волобуев Р. Р., составил настоящий акт на задержание гр. Белова Григория Сергеевича. Обстоятельства задержания: гр. Белов Г. С. прибыл на поезде из Москвы и стал приискивать себе извозчика, чтобы ехать в деревню Воздвиженку. Все извозчики были уже разобраны трудящимися, однако Белов, находясь в состоянии некоторого опьянения, достал из портфеля золотые часы луковицей системы „бр. Буре“ и предложил извозчику Кузоргину Африкану Абрамовичу ихнюю крышку чистого золота, если он скинет своих ездоков и доставит его, гр. Белова, в деревню. На основании этого гр. Белов был мною задержан и доставлен в отделение ж.-д. милиции».

— Подпишитесь, — предложил Волобуев, — вот тут, в уголку.

— Не в уголку, а в уголке, — поправил его Белов, — представитель власти должен грамотно выражаться. А подписывать я вам ничего не стану.

— Это как же так?

— А вот так.

— Если с чем не согласный вы — так измените, мы еще раз перепишем, а подписать положено, у нас все подписуются, когда мы забираем.

— На каком основании вы меня забрали?

— А зачем часы портить? Так часы бандюги суют, у которых законных денег нет, а только краденое народное барахло трудящих!

— Я — ответственный работник, ясно? Лучше вы сейчас меня отпустите — тихо и по-хорошему, иначе я через Москву большие вам неприятности устрою...

¹ «Чичерину, Крестинскому. Переговоры с представителями торговых фирм Шомэ, Маршан и Тарлин окончились провалом. Предлагают мизерные суммы за бриллианты, сапфиры и изумруд. Ганецкий» (Ганецкий — посол РСФСР в Риге).

— У меня на испуг нерв крученый! Пугать не надо...

Дверь милиции растворилась, и в маленькую, насквозь прокуренную комнату милиционер ввел двух женщин-нищенок с грудными детьми. Мальчишка и девочка лет пяти держались за юбки женщин. А паренек лет десяти юрко вырывался из милиционерской сухой крестьянской руки и грязно, с вывертом матерился.

— Ну чего? — спросил Волобуев. — Что случилось, Лапшин?

— С Поволжья оне, а мальчишка по карманам шарит...

— Сади их в камеру, там разберемся...

— Ах, гадюка, гадюка, — горько сказала одна из женщин, черная, простоволосая, — сам небось хлеб жрешь, а у меня в цицке молока нет, вон дитя угасает... А Христа ради тряпки подают — у самих хлеба нет, а за тряпку кто ж денег ноне даст? Вот Николашка и шарит за бумажками-то, братьев своих да сестер спасаючи.

— Пусти мальчонку, Лапшин...

— Так кусается он, товарищ Волобуев...

— Значит, жить будет, — хмуро усмехнулся Волобуев, — раз зубы не шатаются.

Он выдвинул ящик стола, достал черствый ломоть хлеба, отломил половину и протянул мальчишке:

— На.

Тот взял хлеб и, разделив его в свою очередь пополам, протянул женщинам.

Волобуев засопел и отдал парню тот кусок, что решил было сохранить для себя...

— Идите, — сказал он. — Пусти их, Лапшин...

Когда женщины ушли, Белов сказал:

— Жулика отпускаете, а честного человека... Мужик и есть мужик, хотя и в форме...

Волобуев тяжело посмотрел на румяное, юное, безусое еще лицо этого красивого, по-старорежимному одетого юноши, заскреб ногтями по кобуре, вытащил наган и взвел курок. Он бы пристрелил этого сытого, розовенького Белова, но тот закричал так страшно и пронзительно, что Волобуев враз отрезвел и пелена спала с глаз, только челюсть занемела и руки ходили как в пляске.

— Все скажу! — кричал Белов. — Не стреляйте! Здесь они! В портфеле! Тут! Не стреляйте, дяденька!

Волобуев долго сидел, закрыв глаза, потом спрятав наган в кобуру, подошел к Белову, взял у него из рук портфель и, открыв замки, высыпал содержимое на стол. Выросла горка золота: три портсигара, двенадцать штук часов, пятнадцать колец с бриллиантами, четыре десятирублевые царские монеты.

Волобуев долго сидел возле этой горки золота и медленно трогал каждый предмет руками... Потом — неожиданно для себя самого — уронил голову на это тусклое, холодное золото и завыл — на одной ноте, страшно, по-бабьи...

— Хочешь — все забери, только меня — Христом Богом молю — выпусти, — услышал он у себя за спиной голос Белова. — Бери, никто и не узнает, я, как могила, немой, я слова не проорю, дяденька...

Волобуев вытер слезы, высморкался в тряпочку и сказал:

— За слабость простите, а предложение взятки, конечно, в особый протокол выделим, и карманы валяйте навыворот — все, что есть, ложите на стол.

В карманах у Белова оказалось сто пятьдесят тысяч рублей, удостоверение работника Гохрана РСФСР и письмо без адреса следующего содержания:

«Гриша, я вынужден написать тебе это письмо, потому что от личных встреч ты постоянно уклоняешься, а это мне горько — и по-человечески и по-дружески (прости ме-

ня, но я по-прежнему считаю тебя другом, а не случайным сожителем по комнате).

Когда мы встретились с тобой, помнишь, ты ж был одним из лучших людей, каких я только знал, — ты последнюю рубаху мог отдать другу.

А что ж стало с тобой сейчас, Григорий? Неужели власть золота и жемчугов для тебя важнее великой власти мужской дружбы? Если так — изволь передать мне третью часть из того, что получаешь у себя в Гохране. В случае, если ты откажешься выполнить эту просьбу, я донесу властям о твоей деятельности на службе — не открытой, за которую ты получаешь деньги от правительства нашей трудовой республики, а тайной, которая наносит ущерб несчастным голодающим пролетариям. Следовательно, если к завтрашнему дню, к утру, ты не придешь на нашу квартиру и не выделишь мне драгоценностей на сумму в 1 (один) миллион рублей, то я сразу же сделаю заявление в ВЧК. Твой бывший друг, а ныне знакомый Кузьма Туманов».

— Где Туманов проживает? — спросил Волобуев.

— На Палихе.

— Палиха — это что такое?

— Улица это в Москве.

— Значит, надо говорить, улица такая-то, дом такой-то.

— Дом двенадцать, квартира шесть «а».

— Это как так шесть «а»? Пять — есть пять, шесть — будет шесть, а если семь — так и надо говорить.

— Быдло проклятое! — закричал Белов. — За что же ты мне попался в жизни?! Темень перекатная! Не буду я тебе ничего говорить! Не стану, понял? Не стану! — И тут Белов бросился на агента УГРО, но бросился он неумело, парнишка был изнеженный, поэтому Волобуев легко толкнул его кулаком в плечо, Белов упал и начал биться головой о грязный, заплыванный пол.